#Line
Билингва

Пять четвертинок апельсина

Джоанн Харрис

Москва
2022

Part One
THE INHERITANCE

1

When my mother died she left the farm to my brother, Cassis, the fortune in the wine cellar to my sister, Reine-Claude, and to me, the youngest, her album and a two-liter jar containing a single black Périgord truffle, large as a tennis ball, suspended in sunflower oil, that, when uncorked, still releases the rich dank perfume of the forest floor. A fairly unequal distribution of riches, but then Mother was a force of nature, bestowing her favors as she pleased, leaving no insight as to the workings of her peculiar logic.

And as Cassis always said, I was the favorite.

Not that she ever showed it when she was alive. For my mother there was never much time for indulgence, even if she'd been the type. Not with her husband killed in the war, and the farm to run alone. Far from being a comfort to her widowhood, we were a hindrance to her with our noisy games, our

Часть первая
НАСЛЕДСТВО

1

После смерти матери нам досталось наследство: мой брат Кассис получил ферму; моя сестра Рен-Клод — роскошный винный погреб; а я, младшая, — материнский альбом и двухлитровую банку с заключенным в нее черным трюфелем (из Перигё) размером с теннисный мяч, одиноко плававшим в подсолнечном масле; стоило приоткрыть крышку банки, и сразу чувствовался густой аромат влажной земли и лесного перегноя. На мой взгляд, несколько неравноценное распределение богатств, однако в те времена мать была подобна силам природы и раздавала свои дары исключительно в зависимости от собственных прихотей и душевных порывов; во всяком случае, предвидеть или понять, на чем основана странная логика того или иного ее поступка, было совершенно невозможно.

Впрочем, Кассис всегда утверждал, что именно я — ее любимица.

Ну, допустим, пока мать была жива, я этого что-то не замечала. У нее вечно не хватало времени и сил быть к нам хотя бы просто снисходительной, даже если б она и обладала склонностью проявлять к кому-то снисходительность. Но подобной склонности у нее не было и в помине, особенно если

fights, our quarrels. If we fell ill she would care for us with reluctant tenderness, as if calculating the cost of our survival, and what love she showed took the most elementary forms: cooking pots to lick, jam pans to scrape, a handful of wild strawberries collected from the straggling border behind the vegetable patch and delivered without a smile in a twist of handkerchief. Cassis would be the man of the family. She showed even less softness toward him than to the rest of us. Reinette was already turning heads before she reached her teens, and my mother was vain enough to feel pride at the attention she received. But I was the extra mouth, no second son to expand the farm, certainly no beauty.

I was always the troublesome one, the discordant one, and after my father died I became sullen and defiant. Skinny and dark like my mother, with her long graceless hands and flat feet, her wide mouth, I must have reminded her too much of herself, for there was often a tightness at her mouth when she looked at me, a kind of stoic appraisal, of fatalism.

учесть, что после гибели мужа она одна тянула на себе все хозяйство, а мы со своими шумными играми, драками и ссорами ей скорее просто мешали; во всяком случае, утешением в тяжкой вдовьей доле мы ей точно не служили. Если мы заболевали, она, конечно, за нами ухаживала — заботливо, но как-то неохотно, словно подсчитывая, во что ей обойдется наше выздоровление. И даже нежность к нам она проявляла самым примитивным образом: могла, например, позволить вылизать кастрюльку из-под чего-нибудь вкусного или соскрести с противня пригоревшие остатки самодельной пастилы, а то вдруг с неловкой улыбкой возьмет да сунет тебе горсть земляники, собранной в носовой платочек в зарослях за огородом. Поскольку Кассис остался единственным мужчиной в семье, мать обращалась с ним еще суровее, чем со мной и Ренетт. Сестра была очень хорошенькой, на нее с ранних лет оборачивались на улице мужчины, и мать, будучи весьма тщеславной, втайне гордилась тем, что ее старшая дочь пользуется таким вниманием. Ну а меня, младшую, она, по всей видимости, считала просто лишним ртом, ведь я не была ни сыном, который впоследствии поведет хозяйство и, возможно, расширит ферму, ни такой красоткой, как Ренетт.

От меня всегда были одни неприятности; я вечно шла с ротой не в ногу, вечно спорила и дерзила, а после гибели отца и вовсе отбилась от рук, стала угрюмой. Я была тощая, с такими же темными, как у матери, волосами, такими же длинными некрасивыми руками и широченным ртом; я даже плоскостопием страдала, как она. Должно быть,

As if she foresaw that it was I, not Cassis or Reine-Claude, who would carry her memory forward. As if she would have preferred a more fitting vessel.

Perhaps that was why she gave me the album, valueless then except for the thoughts and insights jotted in the margins alongside recipes and newspaper cuttings and herbal cures. Not a diary, precisely. There are almost no dates in the album, no precise order. Pages were inserted into it at random, loose leaves later bound together with small, obsessive stitches, some pages thin as onionskin, others cut from pieces of card trimmed to fit inside the battered leather cover. My mother marked the events of her life with recipes, dishes of her own invention or interpretations of old favorites. Food was her nostalgia, her celebration, its nurture and preparation the sole outlet for her creativity. The first page is given to my father's death-the ribbon of his Légion d'Honneur pasted thickly to the paper beneath a blurry photograph and a neat recipe for black buckwheat pancakes-and carries a kind of gruesome humor. Under the picture my mother has penciled Remember-dig up Jerusalem artichokes. Ha! Ha! Ha! in red.

я здорово на нее походила — стоило ей взглянуть на меня, она каждый раз сурово поджимала губы, а на ее лице появлялось выражение стоической покорности судьбе. Словно оценив все мои достоинства и понимая, что именно мне, а не Кассису и не Рен-Клод суждено увековечить память о ней, она все-таки явно предпочла бы для этой памяти более пристойный сосуд.

Возможно, поэтому именно мне мать оставила свой альбом, не имевший никакой ценности, если не считать мыслей и озарений, которые меленькими буковками были рассыпаны на полях рядом с кулинарными рецептами — ее собственными и вырезанными из газет и журналов — и составами целебных травяных отваров. Это и дневником-то назвать нельзя, там нет почти никаких дат и никакого порядка в записях. Дополнительные страницы вставлены как попало, а те, что выпали, попросту вшиты мелкими стежками; некоторые странички из папиросной бумаги, тонкой, как луковая шелуха, другие же, наоборот, чуть ли не из картона, старательно вырезанного ножницами по размеру потрепанного кожаного переплета. Всякое заметное событие своей жизни мать отмечала либо очередным кулинарным рецептом собственного изобретения, либо новым вариантом тех блюд, которые издавна известны и любимы всеми. Кулинария была ее тоской по прошлому, ее торжеством, насущной потребностью, а также единственным выходом для творческой энергии. Первая страница в альбоме посвящена гибели моего отца и носит отпечаток какого-то жуткова-

In other places she is more garrulous, but with many abbreviations and cryptic references. I recognize some of the incidents to which she refers. Others are twisted to suit the moment's needs. Still others seem to be complete inventions, lies, impossibilities. In many places there are blocks of tiny script in a language I cannot understand. Ini tnawini inoti plainexini. Ini nacini inton inraebi inti ynani eromni. Sometimes a single word, scrawled across the top or side of the page seemingly at random. On one page, seesaw in blue ink, on another, wintergreen, rapscallion, ornament in orange crayon. On another, what might be a poem, though I never saw her open any book other than one of recipes. It reads:

This sweetness
scooped
like some bright fruit
plum peach apricot
watermelon perhaps
from myself
this sweetness

того юмора: под его весьма нечетким снимком намертво приклеена лента Почетного легиона, а рядом аккуратно, мелким почерком записан рецепт блинчиков из гречневой муки. Ниже красным карандашом выведено: «Не забыть: выкопать иерусалимские артишоки. Ха! Ха! Ха!»

Кое-где мать более словоохотлива, но и там множество сокращений и таинственных упоминаний. Одни события для меня узнаваемы, другие слишком зашифрованы, третьи явно искажены под влиянием момента. Иногда у нее и вовсе все выдумано, по крайней мере, кажется ложью или чем-то уж слишком невероятным. Во многих местах попадаются кусочки текста, написанного мельчайшим почерком на языке, которого я не в состоянии понять: «Ini tnawini inoti plainexini. Ini canini inton inraebi inti ynani eromni». А порой это просто слово, нацарапанное будто случайно вверху страницы или где-нибудь на полях. Например, слово «качели», старательно выведенное синими чернилами, или оранжевым карандашом: «грушанка, бездельник, пустышка». А еще на одной странице я обнаружила что-то вроде стихотворения, хотя ни разу не видела, чтобы мать открыла хоть какую-нибудь книгу, кроме книги кулинарных рецептов.

Ах, эта сладость,
Во мне скопившаяся!
Она подобна соку яркого плода,
Созревшей сливы, персика или абрикоса.
Возможно, дыни.
Во мне ее так много,
Этой сладости...

It is a whimsical touch, which surprises and troubles me. That this stony and prosaic woman should in her secret moments harbor such thoughts. For she was sealed off from us-from everyone-with such fierceness that I had thought her incapable of yielding.

I never saw her cry. She rarely smiled, and then only in the kitchen with her palette of flavors at her fingertips, talking to herself (so I thought) in the same toneless mutter, enunciating the names of herbs and spices-cinnamon, thyme, peppermint, coriander, saffron, basil, lovage-running a monotonous commentary. See the tile. Has to be the right heat. Too low, the pancake is soggy. Too high, the butter fries black, smokes, the pancake crisps. I understood later that she was trying to educate me. I listened because I saw in our kitchen seminars the one way in which I might win a little of her approval, and because every good war needs the occasional amnesty. Country recipes from her native Brittany were her favorites; the buckwheat pancakes we ate with everything, the far breton and kouign amann and galette bretonne that we sold in downriver Angers with our goat's cheeses and our sausage and fruit.

Данное проявление ее натуры удивило и встревожило меня. Значит, моя мать, эта твердокаменная женщина, казалось бы, совершенно чуждая всякой поэзии, в тайниках своей души порой рождала подобные мысли? Она с такой свирепостью всегда отгораживалась от нас — да и от всех прочих, — что мне неизменно казалась попросту неспособной на нежные чувства и страстные желания.

К примеру, я никогда не видела ее плачущей. Она и улыбалась-то редко, и то лишь на кухне, в окружении набора излюбленных приправ, непременно находившихся у нее под рукой; в такие минуты она то ли разговаривала сама с собой, то ли что-то монотонно напевала себе под нос, точно по списку произнося названия разных трав и специй: «корица, тимьян, перечная мята, кориандр, шафран, базилик, любисток»; иной раз это перечисление прерывалось замечанием вроде: «Надо черепицу на крыше проверить» или: «Надо, чтобы жар был ровный. Если мало жара, то блины выйдут бледные, если много — масло гореть начнет, дым пойдет, а блины получатся слишком сухие». Позже я поняла: она пыталась меня учить. Впрочем, я слушала ее внимательно, потому что только во время этих уроков на кухне мне удавалось заслужить капельку ее одобрения; ну и потому, конечно, что любая, даже самая беспощадная, война время от времени требует передышки и амнистии пленных. Моя мать родом из Бретани, так что рецепты тамошних деревенских кушаний всегда были ее любимыми. Блинчики из гречневой муки мы ели в самых разных видах и с самой разной

She always meant Cassis to have the farm. But Cassis was the first to leave, casually defiant, for Paris, breaking all contact except for his signature on a card every Christmas, and when she died, thirty years on, there was nothing to interest him in a half-derelict farmhouse on the Loire. I bought it from him with my own savings, my widow money, and at a good price too, but it was a fair deal, and he was happy enough to make it then. He understood the need to keep the place in the family.

Now, of course, all that's changed. Cassis has a son of his own. The boy married Laure Dessanges, the food writer, and they own a restaurant in Angers. Aux Délices Dessanges. I met him a few times before Cassis died. I didn't like him. Dark and flashy, already running to fat as his father did, though still handsome and knowing it, he seemed to be everywhere at once in his eagerness to please; called me Mamie; found a chair, insisted I take the most comfortable seat; made coffee, sugared, creamed, asked after my health, flattered me on this and that till I was almost dizzy with it. Cassis, sixty-odd then and swollen with the seeds of the coronary that would

начинкой, в том числе и в виде блинного пирога, например galette bretonne. Эти пироги мы также продавали в Анже, расположенном немного ниже по течению Луары. Там же мы продавали и домашний козий сыр, и домашнюю колбасу, и, конечно, фрукты.

Мать всегда хотела завещать ферму Кассису. Но именно он первым из нас, невольно ее ослушавшись, покинул дом и уехал в Париж. Всякая связь с ним оборвалась; разве что раз в год на Рождество приходила поздравительная открытка с его подписью; и когда спустя тридцать шесть лет мать умерла, полуразвалившийся дом на берегу Луары уже ничем не мог заинтересовать Кассиса. Я выкупила у него ферму, истратив на это все свои сбережения, всю свою «вдовью долю», и, кстати, заплатила недешево, но это была честная сделка, брат с радостью ее заключил, понимая, что отцовскую ферму стоило бы сохранить.

Однако теперь все переменилось. Дело в том, что у Кассиса остался сын, который женат на Лоре Дессанж, той самой, что пишет книжки по кулинарии, и у них в Анже свой ресторан под названием «Деликатесы Дессанж». При жизни брата я всего несколько раз видела его сынка, и тот совершенно мне не понравился. Темноволосый, вульгарный и уже начинающий заплывать жирком, как и его отец; но физиономия все еще довольно смазливая, и ему об этом прекрасно известно. Он все суетился, все пытался мне угодить, называл меня тетушкой, сам принес мне стул, постарался усадить как можно удобнее, сам приготовил кофе, положил

книга целиком на сайте
Bookmark